

Сергей Наровчатов

Подводя итоги курского семинара молодых литераторов, Сергей Наровчатов особо отметил мои стихи и пообещал опубликовать их в Москве со своим предисловием. Нас всех пригласили выступить по местному телевидению и прочесть по одному стихотворению, но московский поэт прислал мне записку: «Читайте два — «Прозрень» и «О детстве». Что я и сделал.

Наученный горьким опытом, я не очень-то надеялся на публикацию в столице. Но уверенности прибавилось: одобрение Смелякова и Наровчатова чего-нибудь да стоило! Тем более, что это стало известно белгородским издателям, которые хотя и относились ко мне с приглядкой, но дали мою поэмку «О звездах» в альманахе «Время» в 1960 году, а год спустя в местном издательстве вышла моя небольшая книжица — «Звезды делает человек».

Я жил тогда в сельце Тебекино поле — туда и пришла открытка от Наровчатова: «Приезжайте. Нужны будут Ваши анкетные данные — для «Юности» и других изданий».

И вот Москва. Цветной бульвар.

Сергей Сергеевич ждал меня внизу, на вахте. И сразу повел в «Литературную газету». Но там не оказалось кого-то нужного. Спустились этажом ниже и зашли в кабинет редактора «Литературы и жизни» Поздняева. Тут меня сфотографировали. Помнится, буфет был на том же этаже. Наровчатов предложил зайти туда и выпить по кружке пива. Отказаться я не догадался... Там к нам присоединился Михаил Луконин. Наровчатову тогда было сорок два года. Синеглазый и еще не огрузший, он все время пыхтел дешевой сигаретой и сдержанно улыбался, рассказывая своему другу мою историю с «комсомолкой»... Казавшийся мне суровым — по стихам — Михаил Кузьмич также добродушно посмеивался. Луконина, а также Михаила Львова я видел еще только один раз у Наровчатовых на Профсоюзной.

Со времени своего студенчества — а я учился в Московском Горном институте, — помнились строки Наровчатова: «Сплела слепая девочка веночек» и луконина: «Лучше прийти с пустым рукавом, чем с пустой душой». Тогда в Москве выходил ежегодник «Стихи 1955 года», «Стихи 1956 года» и так далее... Я еще не писал стихов, но к тому, что публиковали другие, приглядывался с интересом... Признаться, тогда моими кумирами были Евтушенко, Вознесенский. первый, мой ровесник, успел опубликовать в журнале, если не ошибаюсь, «Октябрь», свою поэму «Станция Зима», ставшую сразу знаменитой, а второй — в «Литературной газете» яркую поэму «Мастера». В те же годы мне попалась книжечка Владимира Луговского «Синяя весна», и я долго бредил словами: «Из лесу красавица вышла возле линии — глаза такие синие и ветер на висках».

Поздней осенью 1962 года я получил телеграмму: «Поздравляю публикацией ваших отличных стихов газете «Литература и жизнь». Сначала не поверил, подумал, что меня разыгрывают приятели, с которыми годом раньше я поступал в Литературный институт.

В письме Наровчатов посоветовал мне подготовить рукопись для издательства «Молодая гвардия».

Оказавшись в Москве, я позвонил ему и попросил разрешения зайти. На Профсоюзной улице у него была однокомнатная квартира. Тахта, письменный стол, на полу шкура медведя, которого, как мне стало известно позже, убил в свое время шестнадцатилетний Сергей в магаданской тайге. Я так и не узнал, за какие провинности его родители оказались на Дальнем Востоке. Но больше, чем шкура медведя, меня поразили книги — на полках, на столе, на подоконнике — такой библиотеки в личном пользовании я прежде не видел ни у кого. Сам хозяин, явный трудоголик, сидел за столом и курил одну за другой сигареты. Галина Николаевна, его вторая жена, тогда еще не располневшая, симпатичная, домовитая, смотрела на своего мужа чуть ли не материнскими глазами и только и успевала выбрасывать из пепельницы окурки и ставить перед ним очередную чашку черного кофе. Еще в Курске ребята мне рассказывали, что он «крепко зашибает». При первой же встрече в Москве он предложил мне выпить и, не дожидаясь ответа, поставил на кухонный стол бутылку водки. Я счел это за честь. В разговоре он упоминал имена поэтов, погибших на фронте: Николая Майорова, Георгия Суворова, Павла Когана и других. Еще до войны он был студентом МИФЛИ и Литературного института и оба закончил перед уходом добровольно на финскую. Говорил он также о тех, кто вернулся: о том же Луконине, Давиде Самойлове, Иване Баукове, Марке Соболе... Правда, я не слышал от него пафосных и затертых к тому времени слов «фронтное братство» и им подобных... Гораздо позже он напишет:

...что лучше не было и нет,

чем эта мокрая траншея,

чем этот серенький рассвет...

Вернувшись с войны, они не сразу привыкли к тому, что мирная жизнь сложна по-своему, что быт требует совсем других качеств, тут надо было терпеть, а то и приспособливаться. Молодечество, связанное с опасностями, с риском, становилось чуть ли не чудачеством и, во всяком случае, было не к месту. Отсюда и строки Луконина, приведенные выше.

Наровчатов был многостаночник: поэт, критик, литературовед. Его жизненный опыт — война, точнее, две войны, юность на Востоке и, конечно, страсть к чтению — не только художественной литературы, давали ему самый разнообразный материал. Такие поэмы, как «Пролив Екатерины» и особенно «Василий Буслаев», требовали глубокого знания истории и этнографии. Его «Необычное литературоведение» — одна из интереснейших книг на эту тему.

А в последние годы он опубликовал удивительные, самобытные рассказы, используя исторический материал, но преобразуя его так, что читатель видел вещи в неожиданном ракурсе.

Я получил от него в разные годы шесть телеграмм и более десятка писем. Не странно ли, что этот много знавший и много видевший человек и поэт не считал зазорным поздравлять какого-то провинциального начинающего поэта с приемом в союз писателей, с утверждением в секретариате. Мне, конечно, было лестно его внимание. После того, как его не стало, я почти каждый раз вчитывался в свои новые стихи его глазами и пытался представить, что бы он сказал по поводу того или иного стихотворения. В 1979 году, будучи редактором «Нового мира», он дал подборку — четыре моих стихотворения и написал, что еще несколько опубликуют в летних номерах...

А еще в 1964 году он согласился быть редактором моей второй книги, которая вышла в Белгороде. Он вообще привечал молодых. В этой связи хочется привести хотя бы в отрывках одно из лучших его стихотворений «Пес, девчонка и поэт» — в нем, как мне кажется, довольно полно выражен характер автора:

Я шел из места, что мне

так знакомо,

где цепкий хмель удерживает

взгляд,

за что меня от дочки до парткома

по праву все безгрешные корят.

Я знал, что плохо поступил сегодня,

раскаянья проснулись голоса,

и тут-то я в январской подворотне

увидел замерзающего пса.

Был грязен пес, и шерсть свалялась

в клочья,

от голода теряя крохи сил,

он, присужденный к смерти

этой ночью,

спасти себя от голода просил.

...Я во хмелю всегда

сентиментален:

— Вставай-ка, пес, пошли

ко мне домой...

...Девчонка над перилами застыла,

сложила руки тонкие крестом

и вдруг рывком оставила перила

и расплескала реку под мостом.

...и я сказал послушливому псу:

— Я спас тебя, а ты спасай девицу,

и умный пес в ответ сказал:

— Спасу!

Когда ж девчонку, словно хворостинку,

на берег вынес, лапами гребя,

пришлось мне влить ей в глотку четвертинку,

которую берег я для себя...

Естественно, девчонка разродилась богатырем, который рос, «как в поле рожь густая... меня, и мать, и пса перерастая»...

А вот концовка:

...Но в этот вечер я не встал со стула,

история мне не простит вовек,

что пес замерз, девчонка утонула,

великий не родился человек.

И тут к месту будет сказать, что он основательно погрешил против истины. Оставим разговоры о величии, но следует назвать хотя бы несколько имен поэтов и тех, кому он дал «доброе пути»: Роберт Винонен, Лев Котюков, Алексей Заурих... всех не назовешь... И особенно хочется отметить, что это он сделал известным признанного теперь выдающимся Юрия Кузнецова.

Бывая в Москве, я всегда заходил к нему. Это у него, оставленный в квартире на целый день, я читал и перечитывал впервые толстенный том поэзии Серебряного века. У него я занимал деньги, чтобы купить в букинистическом магазине недалеко от ломоносовского проспекта «Дневник Екатерины Второй» и «Донжуанский список Пушкина».

Однажды я позвонил ему из общежития литературного института: у него на рецензировании лежала рукопись моего приятеля Алексея Труфилова. Помню дословно тот разговор:

— К вам можно зайти, Сергей Сергеевич?

— Конечно, — ответил он, слегка пришепывая на шипящих.

— Но я не один...

— Хоть целый взвод! Лишь бы в квартиру влезли!

Он был навеселе. Лешка настоял, чтобы мы взяли бутылку.

— Боюсь, погонит, я однажды попытался, и он меня высмеял, дескать, что-что, а это добро у меня всегда есть...

У Труфилова в одном из стихотворений была такая концовка:

...И пусть на мой... крик

ничья душа не отзовется,

не ставьте крест, поставьте штык,

чтоб я и мертвый мог колотья!

— Громко сказано, — заметил Наровчатов, — вопрос в том, по какому поводу?

— Да вообще! — Лешка, ухарски проглотив содержимое стакана, стал заводиться. Ярый почвенник, желтоволосый уроженец Рязани, он работал под Есенина. Ругал Москву, где живут одни тунеядцы... тройные замки, собаки... А остальная Россия на них ишачит...

— Знакомая песня! — фыркнул Наровчатов, — а вы подумали, что такое Москва? Здесь множество крупных заводов и фабрик, где, кстати, работают тысячи и миллионы недавних выходцев из деревень... И, по-вашему, они даром едят свой хлеб?..

А что касается собак, то вы, наверно, забыли стихи своего знаменитого земляка о братьях наших меньших...

Тогда в какой-то связи зашел разговор о том, что поэт Е. увел жену у поэта Л., который в свое время ему всячески помогал пробиться.

— Будь это в иные времена, Л. вызвал бы негодя на дуэль...

— Какая там дуэль, набить морду и все! — прокомментировал Лешка.

Рецензией Труфилов остался доволен...

В следующий раз, когда я был у Наровчатовых, не помню, с чего начался разговор о пошлости и амикошонстве. Сергей Сергеевич возмущался поэтом Р., который называл знаменитого поэта Назыма Хикмета просто Назымом...

— Нет, вы подумайте, человек провел десятки лет в турецких застенках, поэт, коммунист — для него просто Назым! С Пушкиным на дружеской ноге.

Тут он подошел к полке, достал книгу Гоголя и стал зачитывать куски из «Ревизора».

В тяжелые для меня времена, когда мной всерьез заинтересовались органы, он, тогда уже редактор «Нового мира», опубликовал в своей книге «Берега времени» очерк «Парень из Белгорода».

В год его юбилея — шестидесятилетия — я послал ему в подарок двухтомник Бисмарка и вскоре получил ответ: «За подарок спасибо! Но как Вы могли подумать, что у меня нет

этого двухтомника. Будете в Москве — обязательно зайдите. Бисмарк — фигура примечательная, думаю, вам эти книги пригодятся».

В очерке «Песни Коминтерна» он с любовью описывает свои детские впечатления от пребывания в Коктебеле. Знакомство с писателями группы «Перевал» Новиковым-Прибоем, Петром Ширяевым, Николаем Никандровым и другими. Венгерский поэт-революционер Антал Гидаш, интернационалисты из Испании, Германии — вот круг тогдашнего общения мальчика Сережи. Солнечные воспоминания! Среди фотографий, хранящихся в Доме Волошина, есть несколько снимков Наровчатова, сделанных в разные годы.

Он и умер в Коктебеле. Гангрена. Сказались хромовые сапожки финской войны, ранения в Великой Отечественной. Работа на износ за письменным столом, редакторство в «Новом мире», планку которого так высоко поднял Твардовский. Тысячи и тысячи сигарет, бесконечные чашки черного кофе. Мир праху его!

Он не раз цитировал мое стихотворение «Прозрень».

Памяти Сергея Наровчатова

Бывает острое прозрень,
как взрыв в мозгу, что ты — живой,
что ненависть, любовь, горенье
в тебе, с тобой и над тобой.
Ты только вскрикни, хлопни дверью
или засмейся — просто, вдруг —
и тут же ветер и деревья
тебя затянут в общий круг.
В тот милый круг, где все живое,
где наслаждение и боль,
где правят общею судьбою
горенье, ненависть, любовь.
Мы в общем хоре — все солисты,
и даже тот, кто безголос,

в своем, особенном, регистре

доносит шепот свой до звезд.

Николай Перовский